

**ВЕНЕРА
ПЛЮС ИКС**

— Я — Чарли Джонс! — отчаянно прокричал Чарли Джонс. — Чарли Джонс!
И — еще раз:
— Чарли Джонс!

Все прямо-таки обязаны были знать, как его зовут, и никто не имел права сомневаться. Ни секунды.

— Да, я — Чарли Джонс! — проговорил он уже более спокойно, но веско. С ним, правда, никто не спорил; никто и не пытался отрицать того, что он — Чарли Джонс. Лежа в кромешной темноте, он обхватил ноги руками и подтянул колени ко лбу. Под его плотно закрытыми веками мерцали красные огоньки. Да, он — Чарли Джонс, и никто иной.

Это имя было когда-то набито по трафарету на его обувном шкафчике, выведено черными чернилами на дипломе об окончании школы, потом напечатано на чековой книжке и в телефонном справочнике.

Ладно, с именем все ясно. Но человек — это ведь не только имя, тем более что ему уже двадцать семь, и каждое утро, глядя в зеркало на свою физиономию, обрамленную густыми волосами, он в этом убеждается. А еще он любит сбобрить глазунью (белки твердые, желтки, не до конца прожаренные, слегка подрагивают) каплей соуса «табаско» с красным перцем.

Родился Чарли с деформированным пальцем на правой ноге и с легким косоглазием. Он — мастер жарить стейк, водить машину, заниматься любовью, управляться с ротационной машиной, а еще чистить по утрам зубы, не обходя щеткой постоянный мост на месте левого крайнего верхнего резца и малого коренного зуба. Из дома он вышел давно, но на работу явно опаздывает.

Чарли открыл глаза, и красное мерцание прекратилось. Он увидел сероватый дымчатый свет — словно улитка оставила свой влажный след на листьях сирени. Весна. Да, обычные весенние дела; а вчера, ночью, с ним была Лора.

Когда лето только начинается, и световой день длится целую вечность, можно столько всего переделать! Ах, как же он просил Лору дать ему шанс! Мама знает. А потом, пробираясь по затхлому подполу в доме Лоры, почти в полной темноте, он наткнулся бедром на старую петлю от оконной решетки, порвал свои коричневые твидовые брюки, да еще и обзавелся багрово-красным синяком, на котором отпечатался рисунок брючной ткани. Хотя это стоило того, ох, как стоило! Потому что весь тот бесконечный вечер он провел с девушкой — да еще какой девушкой! Любовь! И весь вечер, и весь путь домой, здесь и сейчас, и, конечно, весна, и — любовь! О любви скрипели древесные лягушки, шелестела сирень, пел ночной воздух, и пот, который высыхал на его коже (О господи, как же здорово! Здорово быть частью этого мира, здесь и сейчас. А вокруг — весна, а в тебе — любовь. Но лучше всего — это знать и помнить).

Лучше, чем любить, — только хранить в памяти убежденность в том, что у тебя есть свой дом, что к нему ведет дорога, лежащая промеж двух рядов живых изгородей, и там, в самом ее конце, над дверями, висят две белые лампы, на которых мама своей рукой вывела цифры шесть и один (руки у нее умелые, и номер дома она нарисовала сама, не дожидаясь, пока это сделает хозяин). Правда, цифры уже порядком выцвели, да и мамины руки за эти годы сильно изменились.

А в холле дома, на потускневшей от времени бронзовой панели — прорези почтовых ящичков, которыми пользуются съемщики, едва заметные кнопки звонков, да забранное решеткой отверстие внутридомового переговорного устройства, по которому все это время, что они с мамой живут здесь, так никто и не говорил. А еще — тяжелая бронзовая крышка, за которой скрывается электрозамок; и все эти годы он открывал его ударом плеча, на ходу, не мешкая на пороге... и все ближе и ближе, потому что помнить — это важнее всего. Причем — важно не то, что ты *помнишь*; гораздо важнее сам процесс — *вспоминание*...

По лестнице, ведущей наверх, вниз стекала ковровая дорожка, прижатая никелированными пластинами. Дорожка стерлась до ос-

новы и пушилась былым великолепием лишь по краям (мисс Мундорф учила их в первом классе, мисс Уиллард — во втором, а мисс Хупер — в пятом; он помнил все и всех).

Чарли огляделся. Серебристый свет заливал помещение, в котором он лежал; здесь было тепло, а стены напоминали и металл, и какую-то ткань одновременно. Но воспоминания не отпускали его, и он увидел лестничный пролет, ведущий со второго этажа на третий — там тоже лежали никелированные пластины, но дорожки уже не было, и ступеньки были вытерты бесчисленным множеством ходивших по ним ног. Фокус состоял в том, что, поднимаясь по этим ступеням, ты мог думать о чем угодно, но по звуку своих шагов понимал, где находишься здесь и сейчас — внизу твои подошвы издавали мягкое шуршание от соприкосновения с ковровой дорожкой, а здесь — постукивали по потертому дереву.

И Чарли Джонс закричал:

— Где я?

Он разогнулся, перекатился со спины на живот, попытался встать на четвереньки, но не смог. Во рту стоял сухой жар, словно под маминым утюгом, когда та гладила наволочки, а мышцы в ногах и на спине были безнадежно перекручены, подобно шерстяным ниткам в коробке для вязальных принадлежностей, которые мама все собиралась выбросить, но так и не выбросила...

...любовь, Лора, весна, и число «шестьдесят один» на белых лампах, и шуршание подошв по облысевшей ковровой дорожке, и, конечно, он готов легко вспомнить остаток пути, потому что столько раз возвращался домой, чтобы лечь в постель, а потом встать и пойти на работу, как и в этот раз... А был ли он, «этот раз»?

Дрожа от напряжения, Чарли приподнялся, встал на колени и, наконец, присел на корточки, задыхаясь и переводя дух. Голова его склонилась, и он принялся рассматривать коричневый твид своих брюк, словно ткань эта была занавесом, за которым скрывалось нечто ужасное.

Так оно и было!

— Мой коричневый костюм! — прошептал Чарли.

Да, это был его твидовый коричневый костюм, а на бедре, на брюках — дыра с рваными краями, под которой вспух болезненно ноющий синяк. А это значит, что утром Чарли не переодевал-

ся, чтобы пойти на работу. Более того, накануне он даже не добрался до площадки второго этажа, а вместо этого оказался здесь.

Встать он был пока не в состоянии, а потому начал медленно поворачиваться вокруг, с трудом переставляя колени и слегка двигая головой, чтобы осмотреться. На мгновение остановившись, провел ладонью по подбородку — щетина нормальной длины для человека, вернувшегося со свидания, перед которым он тщательно побрился.

Повернувшись, наконец, вокруг собственной оси, Чарли увидел на закругленной стене вытянутый овал, края которого источали неяркий серебристый свет. Это был первый предмет, за который смогло зацепиться его зрение. Чарли уставился на серебристый овал, напрягся, чтобы определить, что это, но — тщетно.

А интересно, который был час? Подняв руку, Чарли поднес часы к уху. Слава богу, часы работали. Он посмотрел на циферблат и потом долго, не двигаясь, рассматривал его. Похоже было, что и времени ему было не определить. Наконец, Чарли понял, что он видит: цифры на циферблате шли как бы в зеркальном отражении — на месте цифры два стояло десять, на месте четырех — восемь. Стрелки же располагались так, словно было без одиннадцати одиннадцать, но, если судить по цифрам, то — одиннадцать минут второго. И часы шли в обратную сторону, как это было видно по движению стрелки секундной!

И прозвучал внутренний голос, и внутренний голос сказал Чарли: как бы тебе ни было страшно, продолжай вспоминать. Помнишь, как ты устроил себе веселую жизнь с третьим разделом учебника алгебры, когда первый и второй ты прогулял, как и оба раздела геометрии, а чтобы сдать третий раздел, нужно было вывернуться наизнанку, причем по алгебре экзамен принимала мисс Морган, а она была что твой арифмометр, только с акульими зубами? И помнишь, как незадолго до экзамена ты ее спросил о чем-то, что поставило тебя в тупик, а потом, когда она ответила, ты задал второй вопрос... И тут перед тобой распахнулась дверь, о существовании которой ты даже не подозревал... и мисс Морган, эта леди с мертвенно-холодной миной на лице, бесчувственно-бесчеловечный жандарм, ярая сторонница жесткой дисциплины, вдруг оказалась совсем не тем, чем казалась. Она просто ждала, когда к ней подойдет кто-нибудь из тех, для кого алгебра — нечто большее, чем написанное в учебнике, и станет задавать вопросы. И похо-

же было, что мисс Морган уже отчаялась встретить такого человека. Почему так получалось? Да потому, что она математику любила так, что все прочие проявления любви в этом мире казались лишь жалким суррогатом чувства, которое она питала к этой науке. И она считала минуты, ожидая, что кто-нибудь из ее учеников подойдет, задаст вопрос, и она широко распахнет ему двери в сияющее царство своей любви... Ждала, потому что знала, что умирает от рака, о котором, кстати, никто и не подозревал — просто однажды она взяла, да и не пришла на работу.

Чарли Джонс посмотрел на серебристый овал на стене и пожалел, что мисс Морган сейчас не с ним. Жаль, что не было с ним и Лоры. Он помнил их столь отчетливо, хотя мисс Морган отделяли от Лоры годы и годы (а сколько лет пролегло между ними и мной?). Хорошо было бы, если бы здесь оказалась и мама, и та, рыженькая, из Техаса. (Техаска была его первой; а как, интересно, она поладила бы с мамой? А как бы Лора поладила с мисс Морган?)

Он был не в состоянии прервать поток воспоминаний. Не хотел, да и боялся. Потому что, пока он сохранял в себе способность вспоминать, он оставался Чарли Джонсом. Даже в абсолютно незнакомом месте, не зная, который нынче час, день и год, он не был потерян для себя и для мира. Никто не потерян, пока знает, кто он, и что он из себя представляет.

Застонав, Чарли с трудом встал. Он был так слаб, а голова его кружилась так сильно, что удерживать равновесие он мог, лишь расставив широко ноги, а чтобы сделать несколько шагов вперед, ему пришлось балансировать руками, как это делают канатоходцы. Он двинулся к овалу, слабо светящемуся на стене, потому что это была единственная цель, к которой можно было двигаться. Но едва он сделал первый шаг, как его понесло по диагонали в сторону — как в комнате смеха на Кони-Айленд, где тебя закрывают в комнате с зелеными зеркалами по стенам, а потом раз пять или шесть подряд меняют угол наклона пола, и ты, не имея никакой связи с миром за стенами комнаты, начинаешь блуждать, по-дурацки тыкаясь в углы. Сейчас Чарли чувствовал нечто подобное. Впрочем, у него было преимущество — он знал, кто он таков, и, вдобавок, что он болен. Доковыляв до пологого закругления, где пол становился стеной, он опустился на колени и хрипло произнес:

— Я — это не я, только и всего.

Но, услышав собственный голос, он тут же вскочил и прокричал:

— Вот уж нет! Я — это я!

Чарли двинулся вперед, к овалу, верхний край которого оказался чуть выше его головы, и так как ухватиться там было не за что, он просто уперся в стену.

Овал, который оказался дверью, подался.

Открылся выход, и вдруг оказалось, что Чарли уже ждали — улыбающийся некто, одетый столь странно, что Чарли едва не задохнулся от удивления и страха.

Выдавив из себя «О, прошу прощения!», он рухнул лицом вперед.

Херб Рейли живет в Хоумвуде, где владеет участком в сто пятьдесят на двести тридцать футов, который одним концом выходит на Бегония-драйв, а другим — прилегает к земле Смитти Смита. Участок Смита, размерами точно такой же, как участок Рейли, упирается в Калла-драйв. У Херба дом в два уровня, у Смита — одноэтажный. Соседи справа и слева от дома Рейли тоже живут в двухуровневых домах.

Херб заворачивает к дому, высовывает голову из окна автомобиля и давит на клаксон:

— А вот и я!

Джанетт возится с газоном. Газонокосилка громко урчит. Услышав клаксон, Джанетт едва не подпрыгивает от неожиданности. Нажав ногой на выключатель, она дожидается, когда заглохнет мотор и, улыбаясь, бежит к машине.

— Папа! Папа!

— Папочка!

Дейви — пять лет, Карен — три года.

— О, милый! Почему ты сигналишь?

— Закончил с «Аркадией». Босс и говорит — поезжай-ка домой, Херб, к деткам. А ты классно выглядишь!

На Джанетт — шорты и футболка.

— Я сегодня — хороший мальчик, — радостно кричит Дейви и лезет к отцу в боковой карман.

— Я тоже хороший мальчик! — заявляет Карен.

Херб смеется и, подхватив дочку, подбрасывает ее в воздух.

— И какой же замечательный мужчина из тебя вырастет!

— Перестань, Херб! — говорит Джанетт. — Ты ей совсем мозги запудришь! Кстати, про торт не забыл?

Херб опускает Карен на землю и поворачивается к машине.

— Смесь для торта? Лучше уж сделать самому.

Джанетт застонала. Херб, пытаясь успокоить жену, поспешил продолжить:

— Никаких проблем! Все сделаю сам. Получится еще лучше, чем у тебя. Все, что мне нужно, это масло и рулон туалетной бумаги.

— А сыр?

— Черт побери! Заболтался с Луи!

Херб забирает привезенные свертки и отправляется в дом, переодевается. Как только он скрывается за дверью, Дейви кладет ногу на выключатель газонокосилки. Головка цилиндра почти раскалиена, а Дейви — босой. Когда Херб выходит из дома — уже в шортах и футболке, — то слышит, как жена успокаивает сына:

— Ну, не реви! Будь женщиной!

Как будто одни только чувствительные девицы хлопаются об пол! Да от чего угодно можно упасть! Яркий свет фонаря в лицо, невидимые ступеньки, уходящие вниз, — и ты уже летишь! И все-таки это скорее женщина, чем мужчина. Во-первых, одежда. Правда, сидя взаперти, он только о женщинах и думал — Лора, мама, мисс Морган, та рыжеволосая бестия из Техаса! И он понимал, почему даже самый беглый взгляд на это существо любого заставит подумать то же, что подумал он, Чарли. Правда, успел увидеть он немного, потому что лежал на спине, на чем-то упругом и не таком мягком, как пол в серебристой комнате, на чем-то, что скорее напоминало операционный стол в обычной больнице. Кто-то аккуратно возился со ссадиной на его лбу, прикрыв остаток лица и глаза влажной тканью с запахом ведьминового ореха. Этот «кто-то» говорил с ним, и, хотя Чарли не мог разобрать ни слова, голос не казался женским. Конечно, это был не бас, но — все-таки — принадлежал явно не женщине. И, кстати, что вы скажете о наряде этого существа? Представьте короткий пляжный халат алого цвета, с поясом, открытый сверху и снизу. Сзади, на спине, длинные прорезы, а венчает всю конструкцию воротник, возвышающийся над головой, похожий на спинку обитого стула и почти такой же большой. Сзади халат заканчивается длинными фалдами, напоми-

нающими ласточкин хвост, — точь-в-точь как фалды старинного фрака. Спереди, ниже пояса — короткая шелковая накладка, похожая на ту, что шотландцы носят поверх килта и называют «спор-ран». Мягкие — не то носки, не то полусапожки, доходящие до середины голени, такого же цвета, что и халат.

Чем бы ни орудовал странный врачеватель, боль в голове отпустила с ошеломляющей быстротой. Пару минут Чарли лежал неподвижно, опасаясь, что боль вернется и вновь начнет терзать его, но этого не произошло. Он осторожно поднял руку, стащил ткань с лица и встретился глазами с человеком, который, улыбнувшись, певуче произнес совершенно непонятную для Чарли фразу с явно вопросительной интонацией.

— Где я? — спросил Чарли.

Человек приподнял брови и засмеялся, после чего поднес пальцы к губам Чарли и коснулся их, одновременно качая головой.

Чарли понял.

— Я тоже вас не понимаю, — сказал он и, приподнявшись на локте, осмотрелся.

Чувствовал он себя гораздо лучше, сил прибыло.

Помещение, в котором он очутился, напоминало несколько раздутую букву «Т». Большую часть вертикальной черты буквы занимала та комната, где Чарли очнулся, и она походила на тыкву с крылышками. Дверь туда была открыта, и из места его недавнего заточения лился холодный серебристый свет.

Верхняя перекладка буквы «Т», от пола до потолка, заканчивалась единой прозрачной панелью, похожей на витрину, которую Чарли когда-то видел в большом универмаге. Торцевые концы буквы были задрапированы занавесями — там, вероятно, находились двери.

От того, что Чарли увидел сквозь прозрачную панель, могло захватить дух. Поле для игры в гольф, особенно хорошо ухоженное, способно порадовать глаз своим ровным травяным покрытием. Но здесь это покрытие тянулось на многие мили! То тут, то там по необъятному полю были разбросаны купы тропических деревьев. Пейзаж, казалось, стремился поразить наблюдателя разнообразием и ярким цветом растительности, в основном — пальм. Росли здесь равенала мадагаскарская, ливистона австралийская, кокосовая пальма, крохотуля пальметто. Вся эта красота

перемежалась зарослями древовидных папоротников и цветущих кактусов. Роскошный баньян высотой не менее ста футов венчал живописные каменные развалины, которые, казалось, были специально возведены здесь исключительно из эстетических соображений. Корни баньяна обнимали глыбы развалин, а многочисленные стволы дерева несли на себе сочную, глянцево сверкающую листву.

С точки, где находился Чарли (а по его прикидкам это мог быть двенадцатый, а то и четырнадцатый этаж здания, стоявшего к тому же на возвышении), виднелось единственное строение, вид которого красноречиво говорил — такое построить невозможно!

Возьмите дурацкий колпак какой-нибудь особо удлиненной формы и согните его примерно на четверть окружности, после чего ткните острием в землю и уходите, оставив тяжелое основание, поддерживаемое непонятно чем, балансировать в воздухе. Теперь представьте, что эта штукавина, но гораздо большего масштаба, высится перед вами; размер ее составляет более четырехсот футов, а по наружным стенам рассыпаны, словно горсти бриллиантов, окна, поражающие глаз приятной асимметричностью, а также странно расположенные изогнутые балконы, которые висят, как будто не касаясь стен, словно сами по себе. Такой вот занятный домик!

Чарли поочередно смотрел то на здание, то на стоящего рядом с ним человека, и вдруг поймал себя на том, что рот его открыт, а нижняя челюсть отвисла. Это существо выглядело как человек, и одновременно что-то в его внешности резко контрастировало с человеческими чертами. Глаза отстояли друг от друга слишком далеко, были чересчур вытянутыми и располагались скорее по бокам головы, чем спереди. Подбородок сильный и мягкий, зубы ровные и крупные, нос большой, а ноздри вырезаны столь выразительно, что могли бы принадлежать какой-нибудь особенно породистой лошадке. Чарли уже знал, что пальцы у незнакомца сильные и мягкие — как и все тело. Торс, правда, был чуть длинноват, а ноги — несколько короче тех, что нарисовал бы Чарли, если бы был художником. И, конечно, эти дикие одежды...

— Я на Марсе, — дрожащим от страха голосом проговорил Чарли Джонс, одновременно подозревая, что сошел с ума. И бесполезным жестом указал на здание.